05(с132)
М 75

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Цена 2 к.



МОЛОТ

Ежемесячное бесплатное приложение к „Коммунару".

ОРГАН ТУЛЬСКОЙ АССОЦИАЦИИ ПРОЛЕТАРСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ.

№ 1. | Ноябрь 1926 год | № 1.

ПЕСНИ

Знойный день из звонов соткан.
Ой, вы, звоны, звоны дня!
Гулко лязгает лебедка
Над банкою у меня.

А в банке от гула, гуда,—
Хмель, бунтующая дух.
Неизмеренная удаль
Неуемных жгучих дум!

Вы-ли, красные заводы,
Ты-ли, солнечная медь,
Научили с каждым годом
Песни удалью звенеть?

Знойный день из звонов соткан.
Эй, ты, песня, песня дня:—
Неумолчная лебедка
Над душою у меня!

Рабочий Демьян Коотенко.

* * *

Не поет, не грохочет станок,
До утра не завоет мотор.
Эх, гуди-ж, гуди гудок!
Вечереет. Пора на простор....

Кумачем полыхает закат,
В синих окнах —
Горит кумачем.
Разве я слабей кулака,
И слабей синеблузым плечом?!

Не мои ль на Русь города,
И дымят пароходы у дамб.
Никому вольной воли труда,
Никому ни за что не отдам!

Широкоплечий в косую сажень,
За мятеж не любимый никем.
Я работал
На барскую лень
И жил на сыром чердаке.

А теперь, не в моих-ли руках
Золотой весны повода!
И не я-ль в палатах-дворцах
Отдыхаю, устав от труда...

(Крым)

Ив. Галкин.

ОДЕССКАЯ ГОРОДСКАЯ ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 10 ЯНВ. 1927

Тульская областная библиотека им. В. И. Ленина

С. Корнев.

БАТРАЧЬЯ НОВЬ



И гикнул во всю богатырскую грудь.

За полночь. Идет полусон, полуявь.

— Кыдыралы!

— Уй?..

И — нет никого. И глядит пастух в ночь, в стадо, в табун.

Далеко аул.[1]) Два дня ехать надо.

Фыркают лошади, тлеет костер.

И тянется ночь. Не спит Кыдыралы: чудь лезет.

Где ружье его, беркут?[2])

Пришли казаки и забрали. И грозит в темноту он. И степи беду об'ясняет:

— Конь был, ружье было, беркут был — богат был..

Глядит: рассвет идет, козел идет, а ружья нет.

И гикнул во всю богатырскую грудь.

По козлиным ушам полоснуло, за рога ухватилось и с козлом закружилося эхо по лесу.

— У-уй-ба-яий!..

* * *

Толст и богат Турлубек.

Ой, ну, где богат? Разверстку взяли—где богат? Тысяч пять скота было—две осталось, —какой богат?

И тонкой струйкой сбегает кумыс[3]) под усы.

Что принес Кыдыралы с охоты?

Ружье ведь купил пастуху Турлубек.

И ни разу мимо не бил Кыдыралы. Глаз Кыдыралы—джаксы![4])

Что,—глаз: рукой он верблюда потянет. В бегу за оленем успеет.

И глядит Турлубек: живет Кыдыралы пять лет у него за калым[5]) в пастухах, а кончит когда—и сам Турлубек и никто никогда не узнает.

* * *

Молодой Кыдыралы по степи гонит табун Турлубека на пастьбу.

А чьи-то глаза в карауле.. Они по горам, по белкам,[6]) по бешмету.

Куда-ж Кыдыралы уйдет от них—маленьких шелковых глаз.

Любую корову, коня—Кыдыралы поднимет, а сам ни одной не имеет.

О, если бы был он богат! Он табун бы весь отдал за дочь Турлубека-Щайзаду.

И ветер шумит.

А слова балышебека[7]) хватают за грудь батрака Кыдыралы:

— Ханов—в могилу, а баев[8]) к сохе. В суд за калым Турлубека.

Шумит в голове Кыдыралы.

С'езд был..

Сказали:

— Батрак Кыдыралы—начальство.

Потом укатил балышебек, как приехал. И с собой захватил Кыдыралы на с'езд.

И снова, как было: и степь, и покой, и вокруг тишина, и на веках—по пуду две гири.

Только глаза Турлубека, как змеи вьются в седом ковыле.



Откуда, малай?

---

[1]) деревня [2]) орел-охотник
[3]) кобылье молоко

---

[4]) хороший [5]) плата за невесту [6]) снежным вершинам [7]) большевика [8]) богачей

А все-таки, где ж Кыдыралы? Кто скажет? Кто об'яснит, что все значит и как все могло так случиться?

Оттого, что играют в трубу, что кругом везде много народа, что сидит он за красным столом выше всех, и на него все так смотрят, усердно,—ширится грудь.

И все про одно: про новую власть, про аул, про деревню.

Рабочие. Партия. Ленин. Октябрь. Бальшебек.

Понял Кыдыралы одно лишь: батраков на степи бить нельзя, что они теперь сила и баям — капут. В управители их выбирать — жок.[9])

* * *

Новые силы несет Кыдыралы на степь. Не боится Кыдыралы милиций—сам управитель.

— Здорово!

Взглянул: уж деревня. Когда он под'ехал?

— Откуда, малай?[10])

— Из города,—с'езд был.

— О-о!

И глядит Кыдыралы—большой он. Не тот. Не пастух, не батрак, а другой — новый, большой.

— Домой?

— Домой.

..... И полюбились слова Кыдыралы: Рабочие, Ленин, Октябрь, бальшебек.

И не понял—впитал их в себя Кыдыралы.

* * *

Не узнала зеленая степь Кыдыралы.

Шумит. Баи шумят. Бунтуют кругом богачи—чужой Кыдыралы—не наш.

А Кыдыралы корову поднимет, верблюда потянет.

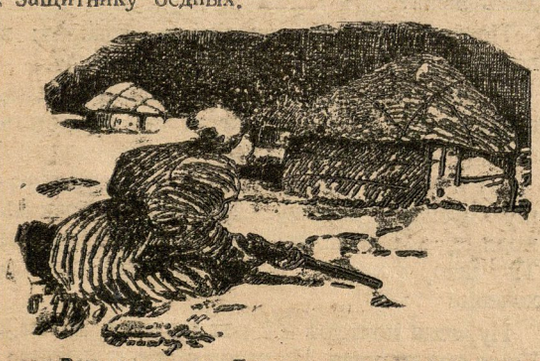
Жалуйтесь все Кыдыралы на баев!

Он вне рода и племени крутит малых, больших богатеев.

В обиду не даст бедняка.

По белкам, по горам, по степи, кто не знает теперь Кыдыралы!

Из разных аулов идут к нему с тяжбой, к защитнику бедных.



Резнуло снова. Пуля пропела шмелем.

[9]) нет, не надо [10]) работник



И слушает степь. И дрожит как кобыль, конь лихой под седлом кыдыралы.

И степь гудит. И слоятся вокруг Кыдыралы уступы. И новые силы клокочут.

Вскипают потоки.

И ветры крепчают степные вокруг неведомых слов чародейных:—Рабочие. Партия, Ленин. Октябрь. Бальшебек.

* * *

Светлая, светлая ночь.

Шумят по ущелью потоки. Спит Кыдыралы. Крепко, ой, крепко!

С неба в юрту[11]) льет свет серебристый луна...

Эй, Кыдыралы, за смерть твою двести коней отдает Турлубек, не жалеет!

* * *

Ухнуло по степи. Резнуло больно.

Ахнули горы—белки.

— Эй, Кыдыралы!

Он встал.

Резнуло снова, пуля пропела шмелем.

* * *

В ночь глядит Турлубек в степь.

Живет еще выстрелов эхо в ушах Турлубека.

И чудится топыт копыт.

Но никого по дороге не видно.

Хлестнуло тоской глубокой, едкой и злой.

* * *

Вот и рассвет.....

Туман над рекой внизу по долине. Из него вырастают, бегут.

— Кто? Кто?

Вскочил.

— Он впереди—Кыдыралы.

К коню Турлубек, к иноходцу лихому, но... руки и ноги не служат.

[11]) в жилище

Пасутся стада, табуны Турлубека.

— Возьмите... возьмите...—хрипит Турлубек—все возьмите.....

А уж гаснет в руках Кыдыралы последняя мысль Турлубека.

Эх, тихо!

* * *

Жив Кыдыралы.

Любил Кыдыралы Шайзаду, но слова бальшебека полюбил он давно, больше степи: Рабочие. Партия. Ленин. Октябрь. Бальшебек.

— Жолдастар, Жолдастар![12])

И слушает степь. И дрожит, как ковыль, конь лихой под седлом Кыдыралы.

Сорвется и вихрем помчится степной богатырь миллионов.

Октябрь тонкерыс![13])

И поет и гудит заалевшая степь.

Советская степь без предела!

---

[12]) товарищи [13]) октябрьская революция.

С. Дмитриев.

ДВЕ ЖЕНЫ

Вчера встретил я давнишнего товарища. Он рассказал: женился я оба раза, ну... как говорится, по любви. Первая жена Анна была красивая баба... Я ее, можно сказать, на руках носил. Ботинки ей модные, платья всякие, тряпки шляпку летнюю, шляпку осеннюю и все прочее.

Живи, говорю, в полное свое удовольствие, пей, ешь, гуляй...

Ну и стали так-то жить. Я на работе, на собраниях, заседаниях,—она дома.

Делов ей никаких. Для делов всяких племянница у меня была. Девченка.

С полгода так-то прожили.

Вижу в глаза: у нее эт к е, грустное. Может, думаю, затяжелела. Обрадовался. Поезжай, говорю, на курорт. Отдохни. Все говорю, силы и средства отдам за твое здоровье. В долг залез—отправил на курорт.

Слышу—послышу, (земля-то слухом полнится), завела моя Анна на курорте амуры с непманом каким-то. Вот те, думаю и раз! А она мне телеграмму: здоровье хужеет, всякие, тряпки,

Послал.

Два месяца она курортила.

Приехала загорелая, крепкая, так от нее и пахнет морем этим самым да солнцем крымским. Пошла жизнь по старому. Про амуры не стал я ее пытать.

Ну и опять живем. Я на работе, на собраниях, заседаниях, она дома, или у подруг, а то по улице гуляет.

Толстеет моя Анна, по просту говоря, ползет во все стороны.

Стал я ей говорить: ты-бы, мол, каким нибудь делом занялась... Как-же так-то.

Она на меня:—а, ты из меня работницу хочешь сделать! Теперь не старое время! А еще коммунистом называешься!

— Хлопнется на постель и давай рыдать. Умираю, кричит,—доктора скорей, невры у меня ужасные.

Вижу—не по дороге нам с ней, разные у нас интересы.

А тут она опять амуры завела, ну... так и и разошелся я с ней. Найду, думаю, я себе женщину серьезную. Нашел. Хорошая женщина, умная, молодая.

Сходили в Загс и зажили.

Живем. Я на работе,жена по дому хозяйствует. Девченку племянницу в деревню я отправил.

И так мне эта тихая жизнь семейная полюбилась—страсть. Придешь это, тут тебе и обед готов и самовар кипит. Жизнь!

В баню-ль соберешься, бельецо чистенькое, носочки заштопаны.

Только прихожу раз—самоварчик не кипит и Марьи нет. Оказывается—на собрание ходила.

И другой раз так-то.

Приходит—я ей и говорю:

— Ты, говорю, по собраниям, муж с работы придет и обед сам из печки достань и самовар сам ставь... Какая-же, говорю, ты будешь жена?

Потом, под праздник как-то, говорит: в подшефную завтра с женщинами поеду.

Ловко! Только и есть один день в неделю, когда муж дома бывает, когда ему отдохнуть надо, а она: в подшефную!

Ну и пошло. Я стараюсь из нее жену хорошую сделать, шляпку ей купил и ботинки модные, а она шляпку—в угол! Швырком! Ты, што, говорит, куклу из меня сделать хочешь!

Ну, года полтора я с ней мучился, потом... Ушла она от меня. На завод опять поступила,

М. К.

ПОСЛЕ ГРОЗ

(ОТРЫВОК ИЗ ПОВЕСТИ)

Солнце уже заходило, угасал уже южный весенний день, когда Борис пришел за Ольгой.

— Пойдем, Ольга, в степь.

Они оставили за собой город, напряженно притихший в преддверии первомайского праздника. За городом их охватила прохлада близкой весенней ночи. Но в полумраке, точно вычерченные на небе, различимы были еще резкие контуры гор. Казались они большими, бесформенными, чутко задремавшими чудовищами. Под ногами Ольги с хрустом поникали ветвистые пышные стебли красных пионов. Наклоняясь, она срывала эти цветы, свернувшие на ночь свои красные, влажные голодки.

Мгновениями казалось Ольге все вокруг пламенным, неповторимым, легко могущим исчезнуть сном. Встреча с Борисом, эта прогулка в степь, эти горы, которые неодолимо влекли к себе, как исполинские завесы на грани неведомых, но сказочно прекрасных стран, вся необычайность этой обстановки точно переносили ее в иной мир, в иные времена. И боялась она, что открыв глаза—она не увидит ни горбящихся во мраке массивов гор, ни южного, быстро меркнущего неба, ни Бориса около себя. Что, проснувшись, вновь найдет вокруг себя глубокие сугробы снега, увидит себя среди пустынных, завьюженных полей севера.

Но его сильную руку ощущала она на своей руке. Его голос слышала рядом с собой. В его глазах тонул ее жадный, исподволь ищущий по нем взгляд.

Они шли, и ночь развесила вокруг них свои темные легкие пологи, скрыв горы впереди и померкшую полосу неба сзади. Впотьмах они взобрались на холм. И далеко внизу раскрылся перед ними горящий праздничными огнями город. Рубиновыми пунктирами, беспорядочными созвездиями горели там внизу первомайские огни.

— Смотри, Ольга! Смотри! Наш праздник—прошептал Борис над ней, вытягивая руку по направлению к городу.

У Ольги в пьянящем беге билось сердце и от захватывающей, восторженной радости закружилась голова.

Она ли это здесь, на этом холме, над большим городом, в ночь величайшего пролетарского праздника? Она ли, дочь парнев—прачки и ночного сторожа—участница величайшей борьбы, торжество которой отмечают эти мириады огней и заглушенный шум музыки из города? Она ли стоит здесь с любимым на этом холме, охваченная влажным дыханием южной ночи?

И чувство безмерной признательности к жизни охватило ее:

— Как же хороша! Как же полна, щедра и неисчерпаемо многокрасочна жизнь! Об этом мечталось ли когда либо в тяжкие дни голодных, грозовых—величественных лет гражданской войны?

Она ощутила почти сверхчеловеческое счастье. Такое счастье, которое передавая в одном мгновении всю полноту жизни,—создает иллюзию бессмертия.

— Пусть дальше будет мрачен и тяжек путь! Пусть снова придут великие беды и скорбные дни. Для них, в огнях первомайских шествий провидящих дерзостный взлет в будущее нестрашны никакие испытания—думала она, безмолвно переживая это незабываемое чувство слияния своего личного с общим, коллективным. Молчал и Борис. Но это молчание сближало их еще больше, ибо знала она, что и он думает и переживает то же, что и она.

— Ах, Ольга! Ольга—в этом его полувздохе, полувозгласе узнала она то же, что проносилось в эту минуту и через ее сердце, и через ее мозг.

В темноте встретились их руки, сошлись их губы. И в этом поцелуе, первом за все эти часы, они взаимно обменялись тем чувством великого, которое охватило их в этот миг.

И желание сейчас же двинуться в город, быть с другими, в коллективном празднике растворить себя—овладело ими.

Переливаясь радугами огней и вспышек ракет, город дразнил, город манил их к себе. И рука к руке, нога в ногу шли они назад, оставляя за собой мрак степи и пустынную гряду холмов.

— Ольга... Мы идем без дороги... Ты топчешь цветы—красные тюльпаны и фиалки, которыми час назад ты любовалась.

А город звал, магнетизировал переливами огней. И она ответила:

— Когда впереди такая цель—и она протягивала руку вперед:—не разбирают дорог, не щадят и цветов.

Он понял символику ее слов. Он крепко сжал ее руку и, как бы подтверждая, повторил:

— Не разбирают дорог, не щадят и цветов.

Город встретил их бурлящими потоками демонстраций, грозо-величавым заревом факельных шествий, буйным всплеском революционных песен, сверкающими каскадами огней. Улицы пели, сверкались двигались, рокотали. Охмеленный томлением великой радости борьбы и победы, город, давно знакомый, казался новым, странным, чудесно преображенным.

Они влились в демонстрацию и, увлекаемые ею и тем настроением которое владело всеми, они шли дальше, вперед, к центру города.

— Какой этот город? Какая эпоха? Какая страна—спросила она у Бориса.

Он понял ее и ответил так, как она ожидала:

— Это—мир! Это будущее! Это—человечество!

— Да! Да! Да!—новым приливом величайшей в боль переходящей радости, ответило сердце Ольги.

М.

ПОЭТ КОМСОМОЛЬСКИЙ

Корявой строчкой сердце не проймешь
(Хоть знаю: мужества нам хватит),
Но каждый раз, то что даешь —
Слабей того, что хочешь дать ты.

Я детство в ранах растерял...
Оно промчалось незабытой пулей;
И вот теперь я свой держу причал,
По новому на звонкой зыби улиц.

Я знаю, знаю молодежь!
Они — бойцы, годами = дети...
Стальную строчку скоро не скуешь.
Но в голове — весна, порыв и... ветер!

А на лугах растет, растет трава,
И набухает вешней силой поле!
... И хочется привстать и заорать:
— Да здравствуют весна и комсомолье!

Умею ль петь?.. Не знаю. Но — хочу...
Играй, гармонь, играй, играй, родная!
С дороги прочь. Не то поколочу.
... Иду, пою. Но как пою—не знаю.

Иван Костин.

САМОУЧКА

Моя душа стихов искала,
Как форм кипящая руда.
У домн учился я напевам
И мудрым мыслям у огня.
Чтоб огненным, мятежным гневом
Звучали песни у меня.
Чтоб вольный ритм, как луч над бездной,
Вставал победою над тьмой,
Чтоб вечный гул громов железных,
Царил над праздной тишиной,
Чтоб над полями сочных пашен
Клубился дым, кудрявый дым:—
От жара труб,—кирпичных башен
С гудками утром голубым...
И не устану, духом гордый,
Напевом вольным и простым—
Слагать в созвучные аккорды
Стихов железные пласты!

Рабочий Демьян Костенко.

ПЕРЕД НОВОЙ МОЛОТЬБОЙ

Дорога пыльная холстиной
Легла от поля до села
И пылью, будто паутиной,
Деревню нашу застлала.

Весь день и в ночь скрипят телеги
Под грузом скрученных снопов,
И, позабывши о ночлеге,
Несется стуканье цепов.

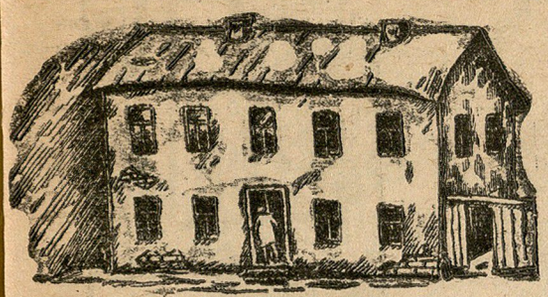
Цепы, цепы, еще таится
В вас архидедовская прыть,—
Но вам с машиной не сравниться,
Но вам мотора не покрыть...

Чего-ж стоишь, скребешь в затылке,
Мой добрый дедушка Фаддей?
Мы, видишь, ладим молотилку,
Без погонял, без лошадей.
Я знаю, ты, мозоля руки,
Весь век живя по старине,
Не видывал такой вот штуки
На родовом своем гумне!
Не правда-ль, дед, былого стену
Давно пора пустить в развор,
И,—стукарям—цепам на смену,—
Давно-бы надобно мотор.

Алексей Медведев.

В. Д.

ЗЯМКА



Длинная цепь домов: больших и маленьких, серых и ярких, веселых и угрюмых. Целый ряд крылец и парадных,—то чистых, с ровными, плотными дверями, то грязных и покосившихся, а за ними—чьи то жизни, слезы, смех.

Зимою улица одевается в шубу, надевают дома пушистые снеговые шапки и замыкаются людские судьбы за двойными рамами.

Летом, когда через окна несутся звуки, жизнь бьет ключем, вырывается наружу. Тогда улица дышет и наполняется через край человеческим шумом и говором. В самом начале ее—большой, облупленный, двухэтажный дом. Он стоит на теневой стороне и большую часть дня грязные тени неподвижно лежат вокруг него, как пыльные занавески дешевого ресторана. В нижнем этаже на окнах с неправильными стеклами валяются сапоги, гребенки, розовое мыло в коробочке из-под пудры, дешевое зеркальце. В навозе и пыли перед ним играют оборванные ребятишки, бледные, золотушные, покрытые болячками и сыпью. На них серые лохмотья, напоминающие арестантские халаты.

Это дети беженцев. Их много в доме, и каждая семья занимает маленький угол-койку.

По вечерам нижний этаж горит огнями, задорно звенит бубен, выходит из себя гармония, слышится топот ног и нестройный говор. Призраки-дети пропали. Вместо них пошатывающиеся фигуры мужчин, девичий визг, щелканье семячек... А верхний этаж спит за своими тюлевыми занавесками, за толстой дверью с пузатенькой мощечкой— „Герш“, надменно глядящей на двор, огороженный дырявым забором. Днем в дыры то и дело лазают куры, собаки и облысевший черный кот с перешибленным хвостом; в мусоре нестерпимо горят стекла битой посуды, мотаются на веревках красные, синие, черные тряпки. Иногда заходят бритые толстенькие люди, дергают за ручку звонка, такую же крепкую, как дверь. Тогда по лестнице отбивает дробь быстрая колотушка голых пяток и маленький грязный мальчонка, бледный и худой, распахивает двери.

Откуда то сверху слышится расистый крик сытого голоса:

— Зямка, что ты долго! Беги на кухню, чертов сын!

Затем стук голых пяток обратно по лестнице и звонкая пощечина.

Зямке 10 лет, но он мал, как семилетний, худ и бледен, весь в синяках, с испуганными бегающими глазами.

— Захлопнулась дверь, посетитель вошел в комнату уютную и опрятную. В качалочке чистая сытенькая девочка играет куклой с отбитым носом. Комната одна—время военное, квартир нет. Герш похаживает по ней, весь коммерчески - точный и хитрый, заключает сделку с посетителем, хвалится дочкой и полной, вялой, богато-одетой женой. А в кухне—чад, стук ножей ворчливый голос кухарки.

Зямка работает. Ему нужно натаскать дров огромную охапку, наколоть лучинку, очистить картошку, наносить воды. Он сбегает на двор и несется на улицу к водопроводу. Так хочется покопаться в пыльной канаве, раз только, раз один, закинуть под самое небо камень.

— Зямка, драный жид! Зямка, драный жид!— окружают его шумной живой толпой ребятишки, и он испуганно шмыгает к крану, прижимается к стене, злобный, затравленный, жалкий.

Его мать давно умерла. Осталось их двое, он и маленький Яша. Отец женился опять. Мачеха—русская. Она молится богу, носит дочь в церковь, поднимает крик на весь дом, когда „вшивые жиденята“ осмеливаются завладеть игрушкой дочери или, избави боже, отнять у нее конфету.

— Это не дети, а горе. Я их обмываю, одеваю, кормлю, а они бесчувственные какие то. Уж отец и я все руки о них оббили!—жалуется она направо и налево.

С полными ведрами, согнувшись вдвое, тащится Зямка под свист и гиканье домой. А дома опять подзатыльники, угар кухни, беготня усталыми ногами по камням двора. К вечеру взрослые уходят, кухарка спит, а он один остается с Яшей и Таней. Хочется спать, но спать нельзя: девочка может упасть, закричать и тогда опять пощечины и побои.

Яша сидит смирно на скамеечке, сложив руки, поставив рядом ножки и смотрит часами в одну точку. Ему три года. Он почти не говорит и делает в штанишки. Зямка с кухаркой незаметно замывают их ему. Когда же что нибудь увидит мачеха, то заставляет Зямку бить его ремнем, несмотря на звериные крики и мычанье мальчишки. Зямке жалко брата больше, чем себя. Правда, по ночам он сам шлепает Яшу, когда тот плачет и не дает ему спать. Но ведь он так устает! Таню он ненавидит и незаметно щиплет, дергает за ухо, с наслаждением слушая заливистый крик девочки. Его бьют за это чем попало, но он злобно терпит и молчит. Кухарка растирает Зямке спину деревянным маслом, но



Хвалится дочкой и полной и мой

спина болит упорно и нудно: в прошлом году он стащил яблоко с окна и отец бил его своей железной тростью по спине, пока что то не хрустнуло в ней. Пролежал тогда три дня без движений на грязной дерюжке в углу (постели не было) и никто, кроме Пелагеюшки, не подошел к нему. В эти три дня Зямка много передумал. Он мечтал, как вырастет большой, сильный и будет долго, долго бить отца; как выгонит вон мачеху и будет смеяться над ней из-за двери.

И росла жгучая, яркая ненависть, заполняя душу, заливая глаза слезами злобы и обиды.

II

Что то, где то случилось. Зямка не знает, что это, но больше не приходят толстые важные люди к отцу, разочли кухарку и на него навалили еще больше работы. По улицам ходили какие то люди с флагами, и отец выпорол больно Зямку, когда тот затащил домой красный, кем то оброненный, флажок. Было хуже, гораздо хуже, и Зямка ненавидел то, что случилось. Ему давали только немного хлеба и несколько ложек какой то бурды. Яша громко плакал и грыз себе кулачек от голода. Отец и мачеха ели сытней, продавали вещи, куда то уходили, торговали мукой Зямка почти не выходил на улицу. Не в чем было. Бегал за водой и в очередь в одних калошах, а ноги обматывал бумагой. В свободные минуты он любил смотреть из грязных окон кухни, как в легком морозце, распушив свои серенькие шубки, скользили по льду воробьи. Помыться ребятам было нельзя: кухню не топили, а в комнату ни его, ни Яшу не пускали. Спали они в лежанке, в золе, отчего по голове и телу пошли струпья, нарывы, краснота.

К лету стало легче. Не мучил холод, да и кормить стали немного лучше. Отец торговал самогоном, напивался с женой. Они целовались, мяли друг друга при детях и заставляли их пить отвратительное зелье, подбадривая Яшу и Зямку смехом, пинками. Сперва было тяжко, рвало с непривычки, а потом Зямка потихоньку стал таскать вино. Бежевцы уехали и в нижнем этаже жили какие то плохо одетые, всегда занятые люди. Зямка чуждался их и боялся, молчаливо ненавидя, как ненавидел всех, кто был старше его и, казалось ему, мог обидеть. От голодовки слезились глаза и отталкивающе желтела дряблая кожа. Люди проходили мимо, болезненно морщась и отворачиваясь.

III.

Однажды ранним утром Зямка колол дрова, поворачивал к солнцу изъеденные плечи. Дворовая собаченка, лохматая и маленькая, вертелась у ног, жалобно пищала. Легкие блики, золотистые и нежные, трепетали на окнах, заборах, листве. На крыльце грелся кот, подобравшись серым комочком. Из нижнего этажа кто то уезжал. Грузили старенький рюмак, общипанный фикус, кривую на все стороны корзинку. Переговариваясь и гремя толстыми подошвами, вошли три милиционера. Сразу весь двор наполнился говором и звуками. Заклохтала курица, залаяла собака. Милиционеры повернули в парадное к Герш, и Зямка, сломя голову, бросился отворять им с черного хода. В доме спали. Теплилась лампадка под образом над кроватью мачехи. Зямка с трудом снял давно не употреблявшийся крюк. Он слышал, как ругался отец и плакала Таня. Потом милиционеры взяли отца и вино, а мачеха истерично плакала, причитая и надрывно выкрикивая. Зямка не удивился, не испугался. Он



Он мог с'есть теперь весь принесенный хлеб,

принес дрова, разбудил Яшу, посадил на скам
ечку в угол и стал ждать, сгорбившись, вы
ного окрика мачехи. В этот день его не бил
Приходили соседи, ахали, шептались о чем т
качали головами, мачеха говорила, что уедет
сестре и плакалась на горькую долю.

IV.

На другой день послали Зямку с утра
очередь. Он бежал по улицам, пыльным и ду
ным, и мечтал о хлебе, который получит.
этого было необычайно весело и ясно на ду
Бросил камнем в собаку, пролез под телегой
прицепился к колесам пролетки. Поболтавши
по улицам, юркнул в очередь. В ней горбили
старушки, бегали платочки работниц, гомонял
и переругивались спешащие люди. Зямка зна
многих. Сложив руки, просил он милостыню.
толкали, били, гнали, некоторые бросали ку
ки, и Зямка с жадностью глотал их, оставля
корочки брату. По Зямке ползали вши, и он
и дело тер грязные ноги, скреб спину. Лю
сторонились.

Домой пришел только к обеду, боязли
нырнул в дверь, вобрав голову в плечи, ож
дая удара и брани, и остановился. Дом был пу
Не было ни вещей, ни мачехи с Таней, ни Яш
Зямка потрогал голые стены и сел на окно, сго
бивши больную спину. И вдруг необычайна
радость охватила его. Он мог с'есть теперь ве
принесенный хлеб, все хрустящие, поджарены
корочки, есть долго, долго...

Зямка работал зубами, облизывая грязны
руки и чавкая от наслаждения. Он весь дрожа
от жадности и радости. Потом он заснул.

Вечером, когда спала жара, Зямка поплел
из дома безразличный и спокойный, тупо ра
нодушный ко всему. Медленно шел он в надв
гающихся сумерках и скоро они поглотили
рую фигурку, как поглотили они уже тысяч
бесприютных, старчески сгорбленных, детски
теней...

Все так же сновали спешащие люди и прята
ся в тени старый, облупленный дом.

Редактор: Редакционная коллегия

10219.

146206